

The book cover features a central illustration of a woman with blonde, curly hair, wearing a red sweater and blue jeans, sitting at a wooden desk. She is looking out a large window. On the desk, there is a teal typewriter with a sheet of paper, a pen, and some papers. The window is divided into six panes. The top two panes show white swans flying against a light blue sky. The bottom four panes show a warm, autumnal landscape with yellow and orange trees, a dirt road, and several houses with brown roofs. The overall style is painterly and nostalgic.

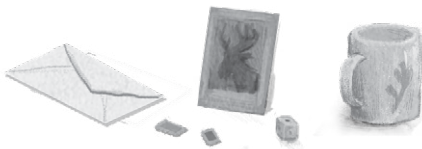
ПИСЬМА НА ВОЩЕНОЙ БУМАГЕ

Карстен Хенн

перевод Ирины Офицеровой

роман

МИО



Глава 1

ПРИЗЕМЛЕНИЕ ЖУРАВЛЯ

Обычно судьба наносит удары.

И лишь изредка принимает нас в свои объятия.

Так, как это сейчас делала седая женщина со множеством «морщинок печали», которая плакала и так крепко прижимала к себе Кати, словно никогда больше не собиралась ее отпускать. Кати чувствовала, как слезы капля за каплей стекают по изгибу ее шеи.

Женщину звали Гудрун Люпенау, и Кати только что прочла ей письмо. Письмо номер тридцать один. За ним должны были последовать еще шесть.

Отправляясь утром 7 октября на Цейнтхофштрассе, Кати ожидала, что Гудрун Люпенау на нее накричит, а может быть, даже даст пощечину, но уж точно не обнимет.

Отдавать письма Кати всегда, когда это было возможно, ходила пешком. Времени такой способ, конечно, отнимал больше, зато и успокаивал ее сильнее, чем если бы она сидела в машине без возможности двигаться. Тем не менее сердце каждый раз дико колотилось в груди.

Проходя мимо кладбища, Кати посмотрела на деревянный крест на могиле матери и невольно подумала о письме номер один. Тогда она еще не знала, что придется написать так много других.

Кати написала его после похорон — из-за траурной речи. Она напоминала вещь на вешалке в магазине одежды по низким ценам. Универсальный размер для людей любой комплекции. Если изменить имя, дату рождения и дату смерти, то эта надгробная речь прекрасно подошла бы любому другому. Или, скорее, *ужасно*. Печаль из-за смерти матери усугубилась злостью на бездушные слова. Кати так старалась не плакать на похоронах, потому что знала: если начнет, то не сможет остановиться. Но из-за той ужасной речи сдерживать слезы стало невозможно. Они стекали вместе с ее подводкой для глаз, как черные чернила.

Вернувшись домой, Кати уже подняла трубку телефона, чтобы пожаловаться священнику, как вдруг испугалась, что от волнения слова посыплются из нее, причем не так, как нужно. И здание, которое сложится из них, рухнет от самого легкого порыва ветра. А в письме она смогла бы тщательно подобрать формулировки. Вот почему она пошла искать чистые листы и вспомнила о ящичке с вощенной бумагой для бутербродов, которую когда-то собрал для нее отец.

— Это для тебя, — говорил он, скрупулезно очищая бумагу от крошек и прочих остатков пищи. — Потом сделаешь из нее что-нибудь хорошее.

Он имел в виду какие-нибудь поделки или возможность использовать их как кальку. Тонкий, хрустящий материал всегда казался Кати волшебным, словно на нем можно было писать заклинания. Он неохотно впитывал краску, и печатная машинка

вечно оставляла на подрезанной по размеру бумаге маленькие облачка чернил, однако этот легкий блеск даже придавал буквам и словам особое мерцание.

Кати упрекала священника в том, что из-за его речи похороны ее матери получились, по сути, анонимными. Просто пустые фразы, которые не грели ни сердца, ни души близких покойной. Сама она выбрала совсем другие слова, использовала много восклицательных знаков (как же приятно было нажимать на соответствующую клавишу на печатной машинке), прокляла имя Господа — неоднократно (это тоже оказалось так приятно, что она вставляла проклятия где только можно) и не скупилась на другие образные выражения (которые, как она надеялась, по-настоящему шокируют священника).

Письмо было напечатано, хотя на самом деле — выкрикнуто.

После того как закончила и положила его в конверт, Кати задалась вопросом, когда она в последний раз писала письма. Не СМС, не имейлы, не документы на работе, а письмо — от одного человека другому. Наверное, еще в школе, подруге по переписке, с которой она тогда общалась и от которой ее отделял целый океан. Лет двадцать с тех пор точно пролетело, ведь сейчас ей уже тридцать девять.

В школьные годы были и другие письма, жизненно важные, как ей тогда, по крайней мере, казалось: «Пойдешь со мной гулять? Поставь крестик: да/нет/может быть». Или: «Встретимся сегодня за спортзалом? Я хочу кое-что тебе сказать...» и синее сердечко, нарисованное чернилами фирмы Pelikan.

Однако самые лучшие письма, которые когда-либо получала Кати, приходили от ее бабушки Катарины.

Сколько Кати себя помнила, бабушка была слишком стара для путешествий и каждое Рождество писала внучке письмо. В первые годы вложенная в конверт купюра ценилась куда больше, чем слова, однако с каждым годом ситуация все сильнее менялась, и в какой-то момент, чтобы открыть и прочитать письмо раньше всех остальных подарков, деньги уже не требовались.

Письмо — это время и усилия, это мысли о других. Самый ценный подарок. В этом оно напоминает домашнее варенье, даже если то оказывается ужасным на вкус, домашние вязаные носки, даже если они колют ступни, и первые неразборчивые каракули, которые вам с гордостью вручают дети. Все это так бесконечно ценно, когда понимаешь, что тебе на самом деле дарят.

Впрочем, если письмо священнику и можно назвать подарком, то явно таким, который он принимать не желал.

Тем не менее, отправляя его, она ощутила удовлетворение. Когда даже через неделю ответа не последовало, Кати начала сомневаться, прочитал ли священник письмо, или приходская секретарша просто выбросила его в мусорное ведро. Мгновенно в ней, подобно только что разожженному костру, снова вспыхнул гнев. Недолго думая, она написала новое письмо (с еще бóльшим количеством восклицательных знаков), сама пошла в дом пастора, позвонила в дверь и зачитала его застывшему в недоумении священнику. Он стоял в дверях в стоптанных тапочках и домашнем халате и все это время заламывал руки, будто таким образом мог как-то повлиять на происходящее.

Зачитывать письмо вслух Кати было нелегко, очень нелегко. Она не решалась поднять на священника взгляд, не говоря уже о том, чтобы посмотреть ему в глаза. Но каждое произнесенное слово заставляло ее держать спину ровнее, а голос, поначалу еще дрожащий, становился все более звучным.

Закончив, она сунула письмо в сцепленные руки священника и ушла. На его оклики Кати не реагировала.

«Всего хорошего» — так звучали последние слова письма, которыми она закрывала за собой дверь и запирала ее.

Обратный путь домой казался Кати легче. Тем не менее она чувствовала, где еще давила тяжесть, где скопилось невысказанное, которое нужно наконец высказать. Где необходимы другие письма, чтобы разорвать ее оковы. Бумага тоже умела быть адски острой и резать краями, словно клинками.

Самыми важными были два магических слова: «Всего хорошего». В них крылось настоящее освобождение, если произносить их искренне. Благодаря им она освобождалась от всей злости, ненависти и собственного разочарования.

Начала Кати в хронологическом порядке и задумалась об эпизодах из детства, когда с ней поступали настолько несправедливо, что это не удавалось забыть. Даже если по мелочам. Раз уж решила вносить ясность, не оставляй темных точек. Так письмо досталось Петре Лобнер, соседской девочке, которая в пять лет не отдала ей ни одного из своих кроликов, хотя те размножились, как... ну, собственно, как кролики. Петра получила свое «Всего хорошего!». Также

письма удостоился президент футбольного клуба, потому что, будучи тренером, не разрешил Кати играть вместе с мальчишками. Не то чтобы ей так нравилась эта игра, но когда тебя исключают только из-за того, что ты девочка... Всего хорошего! Грубиян водитель автобуса, который не впустил ее, хотя — стоя на светофоре — мог бы просто открыть двери, но вместо этого укоризненно посмотрел на нее и постучал пальцем по своим наручным часам. Всего хорошего! Или парень — понятие «бывший парень» стало бы для него слишком большой честью, — с которым у нее случился первый раз. После винного фестиваля. Она этого хотела, потому что была влюблена. Но не так. А он хотел только *этого*. А ведь все ее предупреждали. Всего, черт тебя побери, хорошего!

С каждым письмом Кати все глубже проникалась осознанием того, что прощается не только с прошлым, но и со своей жизнью здесь, в этом городке. Осознанием того, что она уедет, должна уехать. Потому что за столько лет так и не нашла здесь своего места. Ни профессии, которая бы ее удовлетворяла, ни мужчины, который по-настоящему любил бы ее и которого она могла бы любить без подстраховки, ни ребенка, который появился бы в результате этих отношений. Она не посадила ни дерева, ни даже какой-нибудь примулы. Что ж, возможно, все это отыщется где-то в другом месте. Кати хотелось в конце концов узнать, что можно сделать с этим необычным даром под названием «жизнь». Казалось, она еще и развернуть его как следует не успела, а впереди уже маячил срок годности.

До сих пор она не могла уехать, не могла оставить мать одну после смерти отца. Хотя ее никогда

не покидало желание отправиться туда, где кончается радуга, чтобы искать там свое счастье, как делали герои и героини старых сказок. Но тот, кто уезжает, прощается не только с обидами и разочарованиями, он прощается и со всеми хорошими воспоминаниями.

Поэтому Кати стала писать письма и тем людям, которых хотела за что-то поблагодарить. Их она писала от руки, что было весьма непривычно, ведь она не делала этого уже пару десятков лет, и поначалу ей пришлось заново привыкать к собственному почерку.

Такое письмо получил автомеханик, который сделал ей пятипроцентную скидку, потому что счел приятным клиентом. Первая лучшая-подружка-на-веки-вечные, которая дала ей почитать свой дневник — ей, и только ей. Соседка, которая всегда одалживала Кати свою газонокосилку, с тех пор как ее собственная задымилась и испустила дух. Тридцать писем, тридцать раз сердце уходило в пятки, тридцать раз всего хорошего.

Адресат тридцать первого письма не получил рукописных строчек.

Гудрун Люпенау жила в увитом плющом бунгало. Когда Кати нажала на потертую медную кнопку дверного звонка, никто не открыл.

Кати подождет. Час. Это одно из правил, которые она сама для себя установила. Второе заключалось в том, чтобы начинать зачитывать письмо сразу, как только перед ней появлялся адресат, чтобы не забыть во время разговора (как это случилось с напечатанным письмом Маркусу — мальчику, с которым

она в первый раз поцеловалась, и с письмом от руки Франку, с которым она впервые поцеловалась *по-настоящему*).

Через сорок три минуты на подъездной дорожке припарковался желтый «Фиат 500», и оттуда вышла Гудрун Люпенау, даже в семьдесят два года не потерявшая ни капли присущей ей импозантности. Высокая, в бежевом кардигане, с седыми волосами и практичной стрижкой «паж». Когда сквозь стекла очков в красной оправе женщина заметила Кати, у нее радостно заблестели глаза.

— Боже мой, Кати! Что ты здесь делаешь? Как же я рада видеть тебя спустя столько лет! Кстати, а сколько их уже прошло? Ах, да неважно. Мне всегда так нравился твой смех, и ты так красиво улыбалась! — Она достала из кармана брюк ключ от дома. — Если бы я знала, что ты решишь сегодня навестить свою бывшую классную руководительницу, приехала бы пораньше. Я сейчас была у скамейки на берегу реки, знаешь, где она? Ее в прошлом году установил муниципалитет. Нужно просто пройти мимо старой фермы, ну, той, заброшенной, а там недалеко. Мне всегда казалось, что это отличное место, чтобы подумать и отдохнуть душой. — Гудрун открыла дверь. — А теперь рассказывай, что тебя ко мне привело. Хочешь пить? Ой, у меня же совсем ничего нет. Кроме кофе, он есть всегда!

Кати уже несколько десятилетий не слышала этот дружелюбный голос, который на каждом четко произнесенном слогом мог с легкостью переключиться на выговор. Но на первом же слове она занервничала так же, как в шесть лет, когда ее вызвали к доске решать перед всем классом пример по математике. Кати почувствовала себя деревом, у которого с годами

прибавилось много колец, но сердцевина под ними всегда оставалась прежней.

Судорожными движениями она достала письмо из конверта и развернула вощеную бумагу для бутербродов. Затем дрожащим голосом начала читать:

Фрау Люпенау,

вы отняли у меня веру в себя, когда встал вопрос о рекомендации в среднюю школу. Перед четвертым классом я столько занималась, корпела над учебниками и улучшила оценки по всем предметам. Весь учебный год вы так часто меня хвалили, а в итоге не дали мне рекомендацию для зачисления в гимназию. Я просто не могла в это поверить. Проплакала целую неделю, не понимая, что сделала не так. И зачем вы все это время притворялись, чтобы в конце концов так со мной поступить?

Потому что вы мне очень нравились. Глядя на вас, я тогда даже захотела стать учительницей.

И это лишь усугубляет ваше предательство в моих глазах.

Другие в тот момент снова взяли бы себя в руки и встали на ноги с желанием показать всему миру, на что они способны. Но я была просто сломленной маленькой девочкой, которая с тех пор думает, что недостаточно умна для этого мира. Стоит мне узнать, что у кого-то есть диплом, я чувствую себя человеком второго сорта.

При этом в глубине души я знаю, что тоже смогла бы, если бы однажды вы дали мне шанс, а не растоптали мою самооценку.

Кати протянула письмо Гудрун Люпенау. Последние два слова она давно знала наизусть. Как всегда,

последний шаг был самым трудным. Как всегда, ей пришлось набрать полную грудь воздуха, чтобы найти в себе силы произнести это на полном серьезе. Пусть и всего лишь на краткий миг.

Всего хорошего.

После этого Кати сама вложила в руку Гудрун Люпенау письмо вместе с конвертом. Прежде чем развернуться к ней спиной. Важно было поскорее уйти, не давая адресату времени среагировать. Однако ее бывшая классная руководительница среагировала моментально, догнала Кати всего несколькими быстрыми шагами и, разрыдавшись, заключила ее в объятия.

— Ах, Кати, моя Кати! Мне так жаль! Мне очень-очень жаль, ужасно жаль!

Кати не обняла ее в ответ; не хотела принимать симпатию от Гудрун Люпенау и уж тем более не хотела выражать симпатию ей. Она просто хотела уйти.

— Я ведь лишь старалась поступить как лучше! — через запинку выдавила из себя учительница.

Предложение, которое Кати всегда терпеть не могла. Чересчур самоуверенное, оно будто никого не воспринимало всерьез.

— Нет, ничего подобного!

Старая женщина разомкнула объятия и кое-как вытерла слезы с лица тыльной стороной ладони.

— Я сделала так только потому, что твоя мать настояла!

— *Моя мать?*

— Да, тогда на родительском собрании я с радостью рассказала ей, какая ты старательная, и сообщила, что могу дать тебе рекомендацию в гимназию, но она не захотела.

— Но... это же бессмыслица какая-то.

Гудрун Люпенау так держала в руках письмо, словно оно было липким и противным, как ловушка для мух.

— Она сказала, что тебе это нужно, что ты из тех девочек, которым необходимо преодолевать трудности. Я ответила, что она не обязана отправлять тебя в гимназию, несмотря на рекомендацию, но я в любом случае хочу в письменной форме отметить твои успехи. Тогда она взмолилась, чтобы я этого не делала, потому что это спровоцирует ссору между вами, а я же не могла этого хотеть. Настраивать дочь против матери. Я ничего не понимала, это полностью противоречило моей интуиции. Я не сомневалась, что ты обладаешь всеми необходимыми качествами, чтобы поступить в университет. Но передо мной стояла плачущая мать, которая твердила, что хочет для своего ребенка только лучшего. — Гудрун Люпенау тяжело сглотнула. — Тогда я была еще молодой учительницей. Случись это несколько лет спустя, я бы не позволила себя переубедить, но тогда... я всегда надеялась, что приняла правильное решение. Но сейчас... я ужасно сожалею! Мне никогда не загладить свою вину.

Она снова обняла свою маленькую ученицу.

В тот миг Кати поняла, что иногда даже объятия могут быть ударом судьбы.

Кати нарушила свое самое главное правило: не ушла, прочитав письмо. Она пила свежесваренный фильтр-кофе со сгущенным молоком, хотя на самом деле ей